

Артем ПОПОВ

ПРОВОДНИК

Р а с с к а з

Держать в руках топор Якова с малолетства научил батя.

— Попомни, Яша, мое слово: с этим инструментом не пропадешь! — наставлял Севастьян сынишку, который еще толком и говорить-то не умел, но уже с радостью тюкал по березовой чурке миниатюрным топориком.

Подрастал мальчик — появлялся увеличенный в размерах новый инструмент. Став парнем, научился вырубать из ствола мягкой липы фигурки медведей и зайцев и по доброте душевной раздаривал друзьям.

Яша вырос крепким, кряжистым, ладонь что лопата. Севастьян стал брать сына в лес, на заготовку бревен. Бывало, приходилось работать по пояс в снегу. Они промерзали до костей, их волосы превращались в ледышки, потом вместе оттаивали в бане, хлещась чуть не до крови березовым веником.

Из тех бревен рубили избы, бани, амбары, дворы. Севастьян с Яшей были нарасхват во всех окрестных деревнях. Дома они рубили «в лапу»: получался прямой угол, а это увеличивало полезную площадь избы и уменьшало расход бревна. Чтобы углы зимой не промерзали и не продувались ветрами, их обшивали накладными досками, которые отец с сыном сами нарезали продольной пилой. Инструмент у них всегда был остро наточен, металл блестел на солнце. В общем, жили не бедно, даже зажиточно, пока не пришла война.

По старости Севастьяна на фронт не взяли, а Якову вручили повестку в первую же неделю. Перед уходом они с отцом посадили у своего дома молодую рябинку, принесенную от ручья.

— Батя, не приживется, поди: лето уже, — засомневался тогда Яков.

— Не беспокойся, сынок, буду поливать — возьмется. Придешь домой, а ягоды тебя ждут-пождут! — уверенно сказал Севастьян.

Тогда ведь думали, что пары месяцев хватит, чтобы фрица разбить.

Каждый день старик поливал рябину — и она прижилась, дала в сентябре темно-красные, как капли крови, ягоды.

Осенью Яков домой не вернулся и писать перестал. Война продолжалась, похоронки все чаще приходили в деревню, а новостей от Якова по-прежнему не было.

В последнюю зиму войны Севастьян надорвался в лесу и умер от грыжи.

Мать Иринья, сухая, жилистая, выдержала четыре года неизвестности, начинала и заканчивала день молитвой святому апостолу Иакову: «...теплый наш заступниче и ходатай, предстоящий Престолу Пресвятыя Троицы. Не отрини нас от твоего заступления...»

И Яков вернулся. Только сына мать не узнала. Уходил парень с легким пухом на щеках — вернулся седой старик, худой, кашляющий, на груди шрамы, будто рвал его неведомый зверь. Все всё поняли: он попал в лагерь.

Яков никогда и никому ничего не рассказывал: тогда криво смотрели на пленных. Сдался немцам — значит, трус. Первый год Яков чуть ли не каждую ночь кричал и трясся, словно в лихорадке, и, пока мать не клала свою сухую руку сыну на грудь, не успокаивался.

Работы в колхозе для мужика было через край. Однажды председатель обратился к Якову с просьбой сделать гроб для бабки Машухи из соседней деревни, у которой всех родных убило в войну. Надо — значит, надо. Потом еще один старик помер... Так и получилось, что со временем к Якову за этим скорбным делом потянулись со всей округи, и он не мог отказать людям, у которых горе.

После войны свободных девушек было много, а мужчин мало, и вскоре Яков познакомился с доброй белокурой Тамарой, работавшей на пекарне. Раз помог принести воды с колодца, другой — так и подружились-полюбились. Свадьбу сыграли негромкую: только недавно отгремела война, люди жили еще тяжело — зачем смущать их своим счастьем? Через год родилась дочка Люба с ярко-голубыми, словно у куклы, глазами.

Все у Якова с Тамарой наладилось в жизни, только вот эта работа — она, словно заноза, напоминала о боли, пусть и чужой. А Яков, хоть и казался на первый взгляд нелюдимым да черствым, был на самом деле человеком чутким и добрым. Но делился своими переживаниями он только с женой: трудности и лишения научили не особо с людьми откровенничать.

— Вон, Ивана Белова поставили хозяйничать в избе-читальне. Не мужицкое это дело. Дочку Избачихой дразнят. Вчера слышу: кто-то за черемушником у ручья навзрыд плачет. Спустился под горку, подошел, а она слезы по щекам размазывает, всхлипывает, никак остановиться не может. Нарвал с куста черной смороды полную пригоршню — пахучая такая, сладкая — да принес ей. Мало-помалу унялась, рассказала, что ребята на улице смеются: «Избачиха идет, Избачиха идет!» Тошнехонько жалко девку, — рассказывал Яков Тамаре. Она гладила его по спине, когда он кашлял: так после плена и не мог поправиться.

Однажды Яков нашел в капкане зайца и принес домой на радость дочке. Поврежденную лапку ушастому перевязывали, а кормили лучше, чем кошку. Так и жил хромоножка на правах домашнего животного.

Яков никогда не блудил в лесу, знал все места и, кажется, мог с закрытыми глазами вернуться в деревню. К каждому дереву он относился с уважением, словно перед ним живой человек. Прежде чем срубить, он обнимал ствол, что-то шептал, будто просил прощения. Каждую зиму Яков заготавливал лес, потом распиливал с соседом на доски, сушил, строгал.

Когда приходили с просьбой сделать гроб, спрашивал лишь рост покойника, полный ли.

Яков никогда не называл свое изделие гробом — только домовиной.

— От слова «дом». Последний дом для человека, значит, — объяснял Тамаре. — Манефа с мужем-пьяницей да неумехой всю-то жизнь в худой избе маялась, горюнья: и крыша-то текла, и печка дымила, и крыльцо от избы отстало. Пусть хоть в другой жизни домик у ней ладный будет. Как в маленькой зимовочке на теплой печи, будет лежать-полеживать да отдыхать.

Гробы у Якова получались словно аккуратные лодочки, которые перевозят людей в другую, вечную жизнь. К своей работе он относился как к священному ритуалу и называл себя проводником для умерших. Так он возвышал свой тяжелый, неблагодарный труд.

Яков старался всегда прийти на прощание с человеком, пусть даже незнакомым, для которого старался. Следил, чтобы могила была тоже выкопана, по неписанным традициям, не глубоко, но и не мелко и чтобы вначале бросили горсть кладбищенского золотого песка со словами: «Земля тебе пухом...»

Серым, бескровным становилось лицо Якова, когда приходилось делать детские гробики. После этого он молча, в одиночку выпивал в мастерской граненый стакан водки, занюхивая рукавом рубахи. Мутные капли из глаз падали и падали на стружку...

Как-то летом соседские детишки забрались в сарай к Якову и увидели там большой белый гроб. Вытаращили глазенки и оцепенели. Вдруг раздался подозрительный звук: то ли птица какая села на крышу, то ли мыши завозились в углу под половичиной. И так помчались пацанята, сверкая пятками, через огороды, что не заметили жгучей крапивы. В тот же вечер всё рассказали родителям. Весть быстрее птицы разлетелась по деревне: «Яков кого-то хочет похоронить! Гроб делает впрок». Не знали они, что накануне к нему приезжали с просьбой из дальней деревни...

С той поры стали мужики недолюбливать и бояться Якова, а бабы — сторониться. А вдруг гробовщик знает больше, чем они? И совсем уж крепко приклеилось это нехорошее прозвище — гробовщик — после одного трагического случая.

В соседнем селе готовилась к свадьбе красивая молодая пара, и богатые родители жениха решили сделать подарок — заказали Якову новые сани для молодоженов. Яков сделал все честь по чести, жена Тамара украсила сани ароматными сосновыми ветками. И поехали в тот же день молодые расписываться на новой кошевке. Тройка провалилась под лед на широкой реке: возница во хмелю забыл, что из-за оттепели образовалась промоина, замаскированная утренним снежком. Молодые в свадебных нарядах, свидетели и пьяный возница утонули вместе с санями. С той трагедии пошла плохая молва про Якова. А ему впервые пришлось, не разгибаясь ни днем ни ночью, делать сразу пять гробов. Нет, он не обиделся на деревенских, не затаил злобу, но зарубка на сердце осталась.

А жизнь продолжалась, подрастала дочка, которую Яков любил всем своим существом. Вот у нее уже проявились округлости, краснели щечки, когда ребята непристойно шутили в сельском клубе.

В лесу уже начал проваливаться снег, на проталинах появился зеленый брусничник, напоминавший о скором лете, и Яков решил съездить в лес заготовить бревна.

— Зачем тебе? Посмотри на себя! Кость да жила! К фельдшернице всю зиму отправить не могла, только отмахивался, — заругалась Тамара, но в голосе ее звучал не гнев, а тревога: за последнее время муж стал сухой, как щепка, и эта худоба была не от тяжелой работы, а от нездоровья.

— Надо мне, значит, — нехотя ответил Яков и зашелся в кашле, будто его изнутри кто-то душил.

Яков долго кружил по сосновому бору, искал лиственницу. Он знал, что это дерево очень долго не поддается гнили, поэтому из нее делают даже сваи. Лиственницу с трудом нашел после полудня. Со стоном она ухнула на землю. Яков старательно обрубил сучья, вспотел, а потом замерз.

Начинало темнеть. Он так ослаб, что пришлось долго сидеть на пне, прежде чем двинуться в обратный путь. Встал — и зашелся в кашле, сердце выпрыгивало из груди, когда тянул бревно до дороги по рыхлому снегу. Лошадь большими карими глазами удивленно посмотрела и, наверное, подумала: как это смог сделать такой худой человек?

На следующий же день с утра Яков с соседом стали пилить лиственницу на доски.

— И куда тебе с досками? — удивилась Тамара, застав мужа за работой.

— Пусть будет... — только и сказал.

И тут она поняла: этот гроб муж делает для себя! Внутри все обмерло, похолодело. Она обняла его крепко-крепко за плечи, прижалась головой к груди, слушая глухие удары сердца.

— Яша, я тебя не отпущу... — прошептала.

Он закашлял, отстранился от жены, встал, чтобы выйти во двор. Тамара не знала, что Яков уже второй год харкает кровью: он тщательно скрывал свою смертельную болезнь, полученную еще в лагере.

В мастерской он часто отдыхал, мешала тяжелая одышка, как будто кто-то перекрыл для его легких кран с воздухом. О чем думал тогда? Можно ли подготовиться к собственной смерти? В лагере Яков, кажется, привык к гибели людей, смерть не вызывала ужаса. Каждый день видел, как из соседних бараков уходили на работу, но больше не возвращались. Заселяли новую партию... Про себя тогда думал: там, на небесах, душе должно быть легко, а иначе зачем все эти страдания? Тем и успокаивался. Страх притупился, он даже ждал неминуемого конца: поскорее бы... А потом случилось освобождение и наступила мирная жизнь. Жизнь! И почти все забылось.

Он стал снова соприкасаться со смертью, когда ему пришлось делать гробы. Яков старался, чтобы все было по-христиански у закончившего

свой путь: не в пепел превратится человек, а земля должна принять свое дитя в ладном домике-домовине.

Яков опять почувствовал дуновение смерти, когда напал на него изнурительный кашель с кровью. Не сразу, но пришло понимание, что и мирная жизнь конечна, и сделать ничего нельзя. «Ведь в природе за весной следует осень, а потом зима, травы-былинки живут и умирают», — думал про себя. Бесконечно жаль было не себя — жену, у которой запали глаза от этого знания. А ему хотелось посмотреть на внуков. Он даже представлял их глазки, лобики, губки, мечтал, как будет гукать с ними, а потом научит держать молоток, топорик. Они станут его продолжением.

...Яков долго смотрел на домовину, которую делал три дня, потом протер ее ветошью от опилок и, кажется, остался доволен собственной работой. Он хотел лечь в гроб, сложить руки, словно это репетиция, чтобы до конца умертвить свой страх, и застыдилась этой мысли: грех-то какой! Зашел в дом, прилег на теплую русскую печь.

В тот вечер он впервые рассказал Тамаре про плен: как сжигали людей в газовой печи, какими черными были дорожки в концлагере от человеческого пепла, о горах голых трупов — взрослых и детей, которых не хоронили, просто сваливали в кучу... Небо для мучеников стало свидетелем и последним домом.

Яков и Тамара пролежали, обнявшись, всю ночь. К утру дыхание у Якова как будто улучшилось и он спокойно уснул. Тамара тоже забылась. Якова не стало перед восходом солнца... Она не заметила этого мгновения.

Тело мужа обмывала Тамара сама, бабкам не доверила. В затуманенной горем голове мелькали спутанные мысли: «Ушел Яшенька, сугрева моя теплая... Оставил меня одну горе горевать, жизнь доживать... А невесомое тело-то какое у него стало — как мощи святого...»

Лиственничный гроб стоял в комнате, пахло хвойным лесом, янтарной смолой — жизнью. После прощания у дома вся деревня, от подростков до древних старух, прошла пять километров до кладбища, мужики несли гроб на руках, отказавшись от колхозной лошади. Пришли незнакомые люди из многих соседних деревень. Дочку Любу держал за руку чернобровый парень, с которым она уже не раз ходила на свидания, хотела познакомить с отцом, но не успела. Тамара, постаревшая за ночь, гладила Яшу по волосам, поправляла его седую челку. А когда надо было закрывать гроб, бабы еле оторвали ее от мужа. Заголосила...

Выдался удивительно теплый для марта день. Вдруг пошел крупный дождь, хотя с утра туч на небе не было.

Когда опускали гроб, заиграла широкая радуга. Чудо: радуга — в марте!

— Светлый был человек... — осознали вдруг деревенские, только поздно, как обычно и бывает.

Севастьян каждый год с нетерпением ждал отпуска, выпадавшего почти всегда на сентябрь. Ничего удивительного в этом, конечно, не было: все отпуска ждут. Просто Севастьян отдыхать ехал не на море или

в горы, а в отдаленную деревеньку, откуда родом была его мать, Любовь Яковлевна. Нет, по молодости, конечно, ездил с женой Аней и на море, и по модным курортам да санаториям. Но чем старше становился, тем сильнее тянуло из шумного мегаполиса, из которого воздух, казалось, выкачан каким-то гигантским насосом, на родину предков, где журчит под горкой говорливый ручей, где осенними ночами стоит такая тишина, что слышишь, стоя на крыльце, как падают с легким шорохом листья с рябин, растущих под окнами избы.

Самую старую рябину посадил в первые дни войны дед Севастьяна, Яков Севастьянович. Второе деревце — сам Севастьян перед отъездом на учебу в большой город. А третью рябинку, совсем еще маленькую, принес в прошлом году из-под угора, от ручья, его младшенький сын, Димка: «Пап, пусть и моя рябина рядом с вашими растет».

Но пуще всего тянуло Севастьяна в дедову мастерскую, в которой, как и полвека назад, по стенам были развешаны топоры, пилы, рубанки и золотилась на полу кудрявая стружка. Севастьян брал в руки старый инструмент с отполированной до блеска гладкой ручкой — и забывал обо всем. Рубанок легко скользил по поверхности, а на доске проступал причудливый рисунок древесины — каждый раз разный.

После работы, уже вечером, Севастьян долго сидел на прогретом ласковым солнцем бабьего лета порожке сарая, с наслаждением вдыхая терпкий запах полыни и крапивы и теплый, сладковатый запах свежего дерева. Потом неторопливой походкой с удовольствием поработавшего человека шел в избу, где его давно уже ждала с ужином жена Анна.

А от ручья поднимался туман, в небе загорались первые звезды, и свет из окон дома падал прямо на дедову рябину, склонившую к земле ветки, увешанные гроздьями спелых ягод.

